

Проза Сергея Дурылина

Сергей Николаевич Дурылин (1886—1954) — писатель, богослов, театральный и литературный критик — одна из самых загадочных и трагических фигур русской культуры первой половины XX столетия.

В 1915 году Сергей Дурылин впервые посещает Оптину пустынь и становится корреспондентом и духовным чадом оптинского старца Анатолия (Потапова), затем — активным участником общины “московского старца” Алексия (Мечева), в 1920 году принимает сан священника, которому остается верен до конца своих дней.

В 1922 году происходит первый арест С. Н. Дурылина и ссылка. В конце 1924 года Сергей Дурылин приезжает в Москву, а в 1927 году следуют новый арест и ссылка в Томск, затем — в Киржач, и только в 1934 году С. Н. Дурылин вновь возвращается в столицу, а с 1936 года поселяется в своем доме в Болшеве.

Сам Сергей Дурылин считал себя прежде всего писателем. Прозаическое наследие его обширно — начиная от раннего цикла “Рассказов Сергея Раевского” (1915—1921), повестей “Хивинка”, “Сударь кот” (1924, вторая редакция — 1939 год) до хроники “Колокола” (1928—1929, вторая редакция — 1951 год). Эти произведения, за исключением рассказа “Жалостник” из “Рассказов Сергея Раевского”, вышедшего в 1917 году, не были и не могли быть опубликованы при жизни автора.

Пожалуй, одно из самых совершенных прозаических произведений С. Н. Дурылина — повесть “Сударь кот”.

Мы представляем главы 1—3 повести по экземпляру из архивной коллекции Мемориального дома-музея С. Н. Дурылина в Болшеве: Дурылин С. Н. Сударь кот. Семейная повесть. 1924 // МА ДМД. Фонд С. Н. Дурылина. КП-261/21. Машинописная рукопись с рукописной правкой автора (1939—1940 гг.). Рукопись сброшюрована. Черновой автограф находится в РГАЛИ: Дурылин С. Н. Сударь кот. Семейная повесть // РГАЛИ. Фонд 2980. Оп. 1. Ед. хр. 190. В архиве музея сохранились также различные варианты повести как 1924-го, так и 1939—1940 годов и заметки С. Н. Дурылина, поясняющие текст:

“...В Ирине-Иринее я слил черты трех дорогих мне людей: Бабушки Надежды Николаевны, Мамы и Ариши. Ее имя дал я и Ирише моей.

В прадеде есть черты моего отца, но это не мой кот.

Сударь кот — это челябинский желтый Васька, умерший в 1927, от разлуки и тоски ко мне.

Няня — это наша няня Пелагея Сергеевна.

Дом прадеда — это наш в Плетешках, наш же и сад.

Первая глава — поездка к бабушке внучат — это наша поездка к бабушке Надежде Николаевне, в день Ивана Предтечи, я — я, брат <—> Георгий, няня — Пелагея, мама <—> мать”*.

В настоящее время готовится к выходу Собрание сочинений С. Н. Дурылина. Но уже и первых глав повести достаточно, чтобы почувствовать силу и обаяние “открытого вновь” писателя.

* Мемориальный архив. Дом-музей С. Н. Дурылина в Болшеве. Фонд С. Н. Дурылина. КП-261/24.

СЕРГЕЙ ДУРЫЛИН



СУДАРЬ КОТ*

Семейная повесть

Михаилу Васильевичу Нестерову

1

К бабушке, к матери Ирине, в монастырь, мать ездила несколько раз в году на повиданье и на прощенье ее иноческих молитв всему нашему купеческому дому, но нас, детей, к ней брали не всегда, а непременно на Ивана Постного, двадцать девятого августа, на храмовый монастырский праздник. К этому дню готовились и мать, и мы. Мать вынимала из комода замшевую книжку с белым генералом** на скале, вышитым шелками, и сверялась, что наказывала ей привезти к празднику мать Иринея. Купленное она вычеркивала, а некупленное подчеркивала двумя чертами и ездила по лавкам все сама, чтобы все купленное шло в монастырь из собственных, из родных рук, с доброхотством, а не из чужих, из наемных: “из своей руки и то же яблочко — да наливней, и тот же мед — да сахарней”. Покупки все складывались в диванной, что была возле спальни, но в эти дни, перед Иваном Постным, “диванной” не бывало. “Куда нести?” — спросит няню артельщик с кульком. “В матушкину комнату!” — и все понимали уж, что нести в диванную. Мать входила в “матушкину комнату” и, оглядывая зорко кульки, коробки и “штуки”, справлялась с “белым генералом”: все ли припасено к завтрашнему. Мы, брат и я, присутствовали при этом. Иногда мать обращалась ко мне:

* © Публикация Мемориального дома-музея С. Н. Дурылина в Болшеве.

** Речь идет о Михаиле Дмитриевиче Скобелеве (1843–1882), одном из самых ярких военачальников второй половины XIX в. Скобелев участвовал в подавлении польского восстания 1863 г., в присоединении Средней Азии, в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. (во взятии Плевны). Воевал только в белом мундире и на белом коне.

— Сережа, не помнишь, — у тебя память помоложе, — в прошлый раз, как были мы у тетушки, отвозила я репсу на воздухи*? Что-то я запамятовала?

Репс — это шелковая материя, рубчиками, я его знал — у меня продавался он в игрушечной лавке. Мой репс был лоскуток от того, что отвезли в монастырь, и я твердо отвечал:

— Отвозили, — и ждал, что еще спросят, а брат, щурия глаза и заводя свои крупные карие кругляшки в сторону, что строго запрещалось, прибавлял:

— Еще кот бабушкин когтем тогда в шелку увяз!

Мать улыбалась на его слова, не отрываясь от книжки, но, заметив, куда ушли его карие кругляшки, — “вишенки! вишенки! Вася, дай съем твои вишенки?” — строго сдерживала его:

— Пойдешь в угол, если будешь глаза заводить! И не возьму к бабушке. Не смей!

В угол — было не страшно, не очень страшно, только бы не в зале, где пусто и в углах — зелень, сёрень и нечисть, — но “не возьму к бабушке” — это было так страшно, что брат сразу останавливал зрачки посередине, будто они застыли у него, и около “вишенок” делалось что-то мокро.

Но мама опять смотрела в книжку:

— Что не припомню, то не припомню: сколько тетушка просила шафрану*, фунт ли, два ли?

Шафран не продавался в моей лавке; я равнодушно молчал и подбрасывал, подхватывая в горсть, толстое и крепкое, как маленький арбуз, яблоко, которое мне подарили в фруктовой лавке.

— Переели сегодня яблок, — замечала мать. — Это не игрушка. Или убери на послезавтра, или съешь сегодня. А завтра нельзя есть.

— А почему? — спрашивал брат. Я знал, почему нельзя, но молчал, потому что мне хотелось еще раз услышать все. От этого рассказа всегда возникала жалость на сердце, а жалеть так сладко, и так грустно замирает тогда сердце. Я уже знал эту сладость и грусть, хотя и не знал, что это называется сладостью и грустью.

— Завтра у бабушки спроси.

— Нет, мама, скажите.

— Бабушка лучше скажет. Я еще фрукты не проверила, — но брат уж охватывал ее лицо руками, и она сажала его на колени, а я садился у ее ног, на синий коверчик, и она рассказывала. Я не все помню из ее рассказа, но что помню — точно и ясно, как шахматные клеточки синего с желтым коверчика, на которые смотрел, когда слушал ее рассказ.

— ...Ударили в бубны, пришли плясавицы, пляшут, а царь скучен. Пляшите веселей. Отвечают плясавицы: не можем плясать веселей. Пусть заиграют во свирели. Заиграли во свирели...

— Как пастух? — прерывает брат.

— Нет, не как пастух, а по-другому. Заиграли во свирели. Плясавицы пляшут, а царю скучно. Пляшите веселей. Не можем плясать веселей: забейте в барабаны!

— Как солдаты? — опять спрашивает брат.

— Нет, не так. Молчи; слушай. Забили в барабаны. Пошли плясавицы в пляску. А царь скучный. Почему царь скучный? Плясавицы, пляшите веселей! Не можем плясать веселей. Не знаем, подо что плясать.

— Под трубу! — отвечает брат.

— Тебя не спросили. Был пир не весел. Встает тут девица, Иродиадина дочь, говорит: “Буду я плясавицей. Развеселю царя”. И стала девица плясавицей.

На этом прерывается моя память. Оживает на другом.

* Репс — шелковая или шерстяная рубчатая ткань. Воздухи: покровы на священные сосуды в алтаре.

** Шафран — растение, дает окраску желтого цвета. Использовалось также как пряность.

— ...И приходят к царю и говорят: “не гневайся, царь. Нет в твоей казне блюда, чтоб бы вместило Предтечеву голову. Все малы”. “Ищите лучше”, — отвечал царь. Искали слуги, не нашли блюда под Предтечеву голову. “Не нашли, царь, блюда: твои легки, не выдержат Предтечевой главы”. Молчит царь в страхе. Встает плясавица, оком ярким на слуг посмотрела и говорит: “Найду я под ваши головы, под каждую, а под Иванову голову не далеко ходила — нашла. Вот вам мое блюдо”, — и подает им блюдо золотое, что пред нею на столе, для яств, стояло. “Принесите мне на нем Иванову голову”...

Опять прерывает тут память мамин рассказ. А брат не прерывал его уже никакими вопросами. Он теснее прижимался к маме и хватался рукой за ее руку, и уже не отпускал ее, и жался к ее плечу.

— ...Ангелы Предтечеву голову в землю скрыли, пустыня ее травой зеленой прикрыла и украсила алыми цветами. В Предтечев день алые цветы не рвут: кто сорвет, тому цветок алой кровью капнет. В Предтечев день круглого не вкушают; как принесли плясавице честную голову, пир в конце пира был: пред всеми гостями, на серебряных блюдах, плоды круглые лежали из царских садов наливные, а перед плясавицей, на пустом на золотом ее блюде, честную голову положили. Царь в пущем страхе сидит; гости молчат; остановился пир при самом конце. Говорит плясавица: “Что ж вы, гости, сладчайших плодов из царских садов не вкушаете? Аль не сладки?” А глянула: на блюдах у гостей не круглые плоды, а мертвые главы...

Тут молчали мы все трое.

Мама спускала брата с колен, целовала в лоб его и меня и говорила:

— Ну, идите в детскую, и не надо вам в нынешний день и завтрашний ссориться. День этот — страсти Предтечевой. Страшный это день. У бабушки будьте тихи. Бабушку не беспокойте.

Мы шли в детскую, а мать оставалась в “матушкиной комнате” и проверяла покупки. Отец приезжал вечером из города и, перед всею ночью, заходил в диванную вместе с матерью.

— Все в порядке? — спрашивал он.

— Кажется, что так, — а не поручусь, что чего не забыла.

— Ну уж, матушка, вспомни. Иван Постный один в году бывает.

— Вспомнить-то вспомнила, да придется завтра, перед монастырем, в лавку заезжать.

“Лавка” — это был наш оптовый магазин в городе, а если говорили: “лавки”, “поехать в лавки” — то это про чужие.

— А что?

— Да сегодня только вспомнила, — мать улыбалась широко и долгою своею улыбкой: она была долгая, потому что, раз появившись на ее некрасивом, умном лице, долго оставалась на нем и делала его привлекательным и грустным. — Тетушка, в прошлый раз, наказывала мне, даже удивила меня: привези ты, говорит, мне, матушка Аночка, палевых* лоскуточков шелковых всяких поболее, что к канарейке ближе. — На что же, спрашиваю, вам, тетушка, канареечных? — Я палевый узор подбираю из шелков: чайную розу хочу шить по стальному фону, на пелену к Феодоровской Владычице. Удивила она меня. В шестьдесят пять лет — палевую розу! Ведь на это надо глаза мышинные.

Отец увязывал какой-то развязавшийся кулечек и отвечал:

— Сколько она этими мышинными глазами слез-то молодых и старых пролила! Нет, не глаза, а корень у них, старозаветных, крепок, корень без пороку. Дубы и кедры были, а ныне — осинки да ельничек. Нет, не глаза. Кедры да кипарисы были.

Он пробегал глазами замшевую книжку.

— И все это, что у тебя, матушка, здесь писано, все, как в сказке, по тетушкиным усам потечет, а в рот не попадет.

— Сама знаю. Все раздаст, рассуёт Пашам и Дамашам. Ей-то самой что бы такое привезть?

* Палевый — соломенного цвета, желто-белесоватый.

Отец махал рукой, левым плечом подталкивая дверь из диванной:

— Я тридцать лет над этим голову, матушка, ломаю — да так и не придумал ничего. Разве коту на печёнку оставить, так и от той тетушка кота отучила и на монастырский стол его перевела. Матушка, я есть хочу. Скоро ко всенощной ударят*, — доканчивал он уже за дверью.

Мать приказывала подавать обед.

На самого Ивана Постного мать и отец ходили к ранней обедне в свой приход, но молебна не стояли, отец, попив чаю с черными сухариками, посыпанными крупной солью, уезжал в город, а мать принималась за сборы к бабушке. С кульками, сверточками, баночками, ящичками отправляли, раньше всех, няню Агафью Тихоновну. Мы с братом, одетые в русские рубашки из синего шелку с вязаными серебряными поясками бабушкиной работы, выбегали на двор усаживать няню в пролетку, в которую Андрей-кучер запрягал самую смирную лошадь — каурюю Хозяйку, и за кучера садился второй дворник Степан, молчаливый, вдовый мужик, который в этот день и в кухню не заглядывал, чтобы не замарать новую кубовую рубаху**, и на кухаркины требования принести в кухню то, другое, отвечал неизменно:

— Сами принесите-с. Я сегодня под нянюшку.

Няня, с помощью Степана, горничных и нашею, усаживалась в старинную, “вторую” пролетку, в которой ни отец, ни мать уже не ездили, — и ее со всех сторон обкладывали поклажей для бабушки. Мать выходила на крыльцо и поминутно опрашивала няню:

— Тихоновна, дошес не тряско поставили?

— Тихо будет-с, — отвечал Степан.

— Банки-то не перебить бы с грибами, с рыжиками, с дынным вареньем.

Но горничная Стеша уже совала няне старую шаль, и банки, поставленные в задок пролетки, окутывали шалью, чтобы не бились бок о бок. Няня заботливо все озидала, сидя в пролетке, и шептала Стеше:

— Слава Богу, дынь не беру, по нынешнему дню, а то дыни-то ведь бяуны бяюнучие: живо перебьются.

— Довезете все, даст Бог, в целости.

А в это время брат тянул из корзинки веточку лилового винограда; няня его хлопала не больно по руке:

— У бабушки поешь. Запылится виноград.

А брат передразнивал ее:

— Запылится вино и град! — подбегал с другой стороны пролетки и запускал руку в пузатый кулек, но тотчас же выдергивал и тер о нянин фартук. Няня ахала от ужаса:

— Гляди, что делаешь! Фартук замараешь! Что бабушка скажут? Ведь руку-то в семужьем жире обрыбил, бесстыдник... Стеша, вымой Васеньке.

Мама недовольно позвала с крыльца:

— Поди сюда, Василий. Няня, живет, этак до вечерни не собратся. Готово, что ли, там? Ничего не забыли? Поди, Сережа, сбегай в бабушкину комнату, посмотри: не забыли ли чего?

Я взбегал в дом, мигом оглядывал пустую комнату и еще с лестницы кричал:

— Все взяли!

— Ну, тогда несите! — не оборачиваясь на меня, приказывала мать. Няня неподвижно сидела в пролетке. Степан уже восседал на козлах, а брата мать держала за руку. Тогда из кухни показывалась “белая кухарка”, Марья Петровна, в черном шелковом повойнике***, сопровождаемая Стешей, и на блюде, высоко перед собою, на широко расставленных ладонях, медленно несла огромный пышный пирог: пирог был тщательно прикрыт и увязан сал-

* Скоро ко всенощной ударят. — Перед началом службы полагается благовест (одиночные удары в большой колокол).

** Кубовый — синий.

*** Повойник, повой — русский женский головной убор, повязка, полотенце, обвитое вокруг волос.

фетками, но и через салфетку от него развеялся по воздуху приятный пар. Довести пирог в полнейшей сохранности и красоте и было главной задачей няни, ради которой, главным образом, и снаряжалось ее особое посольство. Пирог пекли с начинкою о четырех концах, так что начинки сходились к середине пирога острыми углами: был угол самый постный, с одними мелко рубленными рыжиками, были углы средние: с мясистыми белыми грибами и рисом, был угол “соленый”: с осетровой вязигой. А посередине пирога из золотистого теста были выведены инициалы: “М. И.” — “Мать Ирина”.

Няня принимала пирог, опирала блюдо о колени и всю дорогу поддерживала его руками. Степан оглядывался с козел: хорошо ли уселась няня с пирогом, и делал два-три замечания, как лучше сесть и приладить руки к блюду: было делом его чести благополучно довести нянюшку и пирог. Стеша застегивала кожаный фартук у пролетки, мама еще раз оглядывала няню, Степана и пролетку и, наконец, громко говорила:

— Ну, с Богом! Час добрый! Тетенке передавай, что мы следом будем, да келейницам скажи, что я говорила: чтоб все было в порядке: архимандрит будет... Нам осудят, ежели что не так подадут.

Няня уж ничего не отвечала, не сводя глаз с пирога, а только кивала головой в ответ.

— Трогай, Степан!

Няня крестилась торопливо, боясь поднять руку от пирога. Пролетка с няней и с пирогом уезжала, и тотчас же начинались вторые сборы, наши с мамой.

Старший кучер, Андрей, ловко подал парадную пролетку к крыльцу, остановив ее у самой нижней ступеньки. Мама села с братом, придерживая его рукой, а я поместился на маленькой скамеечке перед ними. В верхе пролетки лежали “штуки” материй и продолговатые картонные коробки с галантереей и платками.

— В город! — приказала мама обернувшемуся Андрею. — В лавку.

Мать любила быструю езду. Она была взята из семьи, где все были лошади и, по выражению отца, недолюбивавшего шурьев, порастратили отцовское состояние на “сивку-бурку, вещь каурку”. Андрей любил ездить с матерью: отец ему не давал показать на всем ходу нашу отличную пару в яблоках, сдерживая его кучерской пыл, и Андрей поварчивал на отца потихоньку: “На лошадях, как на клячах, я ездить не согласен”, а выпивши, прибавлял: “Я на клячах и то, как на лошадях, ездю. Меня барыня понимает”.

Мы ехали быстро; мелькали дома, магазины, лавки с вывесками: “мужественный парикмахер Козлов с дамским залом”, — и улыбался нам длинный турок с закрученными усами, китайцы, сидя на цыбиках с чаем, дружелюбно двигали и водили косами, толстый арбуз с фруктовой лавки сокрушенно раскачивался: “я — круглый, я — круглый: меня нельзя есть”, — “а нас можно!” — отвечали румянобокие груши с той же вывески. Мать крестилась на церкви и снимала с брата картузик, и он начинал креститься, когда церковь была от нас уже далеко.

Лавка была в гостинном ряду. Мальчик в суконной серой куртке выбежал из лавки и высаживал первым брата, помогал сойти маме. Мама здоровалась с Анисимом Прохоровичем, седым заслуженным приказчиком, в долгополом сюртуке, с холеными крупными руками. На шее у него висела золотая большая медаль на малиновой ленте: он, по закрытии лавки, тоже заезжал поздравить бабушку и был в полном параде. Он почтительно, но с достоинством здоровался с мамой, усаживал ее на стул, возле прилавка, предварительно устелив стул листом белой бумаги, — и не спрашивая, что нужно из товара, — вел разговор:

— День сегодня, сударыня Анна Павловна, торжественный и печальный-с: Усекновение честные главы пророка и предтечи Господня Иоанна. — Он четко и по-церковнославянски, словно вязь, выводил-выговаривал полное церковное название праздника, особенно ясно отчеканивая: И-о-а-н-н-а. — Где у обедни изволили быть?

— У себя в приходе, — отвечала мать, оглядывая куски шелкового товару, лежавшие на полках: белые, голубые, розовые, синие, фиолетовые,

оранжевые, черные, желтые края их нежно вырисовывались в тускловатом освещении “лавки”.

— Я так и предполагал-с. В монастыре преосвященный владыко Нафанаил служат.

— Я всегда в приходе обедню стою, а к тетушке на молебен.

— Потрафите в самый раз. Преосвященный в служении медлителен и служит истово и благолепно: в первом часу, не ранее, полагаю, обедня отойдет. Облачения крестовые: золотые кресты по лиловому бархату. Бархат в черни*.

— Я что-то не упомяну его. Должно быть, не бывала на его служении. Давно он у нас?

— Менее года, как на покой присланы, в Вышатъев монастырь, что в десяти верстах от города. Постники, вина никакого; никогда не ужинают, но рыбу очень любят-с, красную-с. Были на Крайнем Севере, а прежде викарием в Привислянском крае-с. Магистр богословия.

Анисим Прохорович так же тщательно, как название праздника, выводил географические названия.

Он был одинок, жил с старушкой — двоюродной сестрой, и читал “Московские ведомости”. На столе у него лежал крестный календарь и “Список архиереев”. Он больше ведал продажей парчи. Покупщиков — церковных старост, архиерейских экономов, кафедральных протоиереев — он уводил в особую темную дощатую комнату с зелеными шелковыми занавесками, где всегда горела лампа, усаживал в кресло и говорил:

— У меня рост архиерейский. Наш духовный портной, по моему росту, многие облачения уже шил, на мне и примеривал, потому что на человеке пожилом это пристойнее, чем на бездушном манекене. Вы не сомневайтесь. Парча эта не тяжела, златовидна и умильных тонов. В западном крае были случаи обращения униатов после служения владыки Пахомия в кафедральном соборе в облачении из вышереченной парчи. Благолепие, изволите знать, много способствует возвышению религии. В “Московских ведомостях” была корреспонденция.

Сolidные покупщики любили покупать у Анисима Прохоровича, и если парча покупалась для какого-нибудь городского прихода или монастыря, он всегда приходил на первое служение, при котором облачались в облачение из новой парчи, и по окончании службы, умиленный и растроганный, подходил к протоиерею или эконому, брал благословение и, почтительно улыбаясь, говорил:

— Ну, вот видите, ваше высокоблагословение, — был ли я прав, когда смел предлагать Вашему высокоблагословию подобную парчу?

— А что, — спрашивал протоиерей, — разве величественно было?

— Небесí подобное украшение, — отвечал Анисим Прохорович и, вновь взяв благословение, откланивался.

Он был любитель и художник парчового дела.

Про парчу, — осторожно и медленно разворачивая тяжелую, блестящую золотом, пышную ткань, — он говаривал: “Это — для Бога. Царь царём”; про шелк говаривал: “Это — одеяние князей земных”, и раскидывал перед покупателем, холеными руками своими, кусок шелковой материи быстрее, небрежнее и вольнее, чем парчу; а шерстяные товары сам никогда не показывал — и шерстяные и бумажные ткани определял: “Это — одеяние от наготы-с, не более того: наги, по грехам нашим, родимся и получаем брненное прикрытие. Не красоте, а наготе-с”. А шелк, и еще более парча — это была для него красота, ради которой он берег и свои руки, — и с усмешкой говаривал про себя: “Я белоручка-с: ни к чему не прикасаюсь”.

Решив, что разговор с матерью достаточно веден так, что приличествовало началу, Анисим Прохорович осведомлялся:

* В Православной церкви священники служат в облачениях разных цветов. В Господские праздники — в белых, на Пасху и память мучеников — в красных, в Богородичные — в голубых, а Великий пост и постные дни — в лиловых.

— А чем, сударыня, можем служить? Время — деньги, говорят англичане, хоть мы в том, русские, им и не верим: у нас деньги особо, а время — особо.

— Вот что надо, Анисим Прохорыч: задала мне тетушка задачу — подобрать ей шелковой материи, желтого цвету, все оттенки: канареечного, палевого, лимонного. Какие только есть...

— Можем служить, — отвечал Анисим Прохорыч, — а количество-то, по всему вероятно, требуется не малое: по десяти аршин цвета, — и правая бровь, седая и чуть подстриженная, опустилась у него слегка над глазом.

Мать улыбнулась:

— Вы знаете тетушку. Пелену шьет к Федоровской. Надо по лоскутку каждого цвета.

— То-то я и говорю: количество не малое: наберем ли? — и Анисим Прохорович приподнял бровь и покачал головою. Я засмеялся, забежав за прилавок. Он повернул ко мне голову и повторил: “Наберем ли, молодой хозяин? а? товару-то больно много требуется!” — и тут же, другим голосом, приказал:

— Иван Никифоров, достань-ка образцы. Есть там желтые.

Молодой приказчик кинулся искать, но, порывшись в картонах, принес только два-три отрывка образцов желтой шелковой материи со словами:

— Больше нету-с желтой.

Анисим Прохорович нахмурил брови.

— А у нас палевые были — фэй-франсэ и сáржа — и канареечные — фуляр?*

— Где-с?

Анисим Прохорович встал со стула, повернулся к нам спиной, крикнул сердито с раздражением:

— Ты сыщи, а я укажу! — опять присел на стул около мамы и, покачивая головой, молвил сокрушенно, как будто и не кричал только что:

— Дивлюсь я, сударыня: мы, старые люди, на рубли помним, а у молодых людей — на полушку памяти не хватает! Отчего это?

Мать ничего не ответила, а протянула ему кусок желтого атласу:

— Вот такого бы цвету еще кусочек, Анисим Прохорович.

— Все это возможно, все это возможно, — отвечал он с тем же сокрушением в голосе.

Принесли еще отрезков, и мать отобрала из них целый подбор кусков желтого шелку всех оттенков. Я тоже выпросил для своей игрушечной лавки лоскут желтого атласу.

— Смею спросить, сударыня, — заговорил старший приказчик. — Мать Иринаея какой узор шьют?

— Розан.

— Ну, тогда вам и зеленого канаусу* надлежит взять — на шипы-с и на листья.

— Тетушка не просила.

— А мы их не послушаем да присовокупим. Убытку не будет. А молодой хозяин перечить не станет.

Он погладил меня по голове.

Мама хватилась брата.

— Сережа, сбегай, посмотри, где Вася.

Я уже знал, где Вася: он был в подвале, под лавкой, где стояли ящики, пустые и с товаром, валялись огромные круги с бечевкой, пачки картона, целые головы рогож. Мальчики и артельщики паковали товар.

* Фай (от франц. faille) — дорогая тонкая плотная шёлковая ткань, выделявшаяся однотонным и имел различные оттенки, характерные для того или иного места первоначального производства. Популярностью пользовались фэй-де-шин (“китайский фэй”) жёлто-коричневых оттенков и особенно фэй-франсе (“французский фэй”) различных оттенков синего цвета. Судя по цвету, у Дурьлина речь идет все же о фэй-де-шине. Сáржа — тип переплетения, характеризуемый рядом мелких диагональных полосок или рубчиков. Фуляр — легкая мягкая шелковая ткань, распространенная с XVIII в.

** Канаус — шелковая ткань из сырца или полусырца.

Горела подвешенная под потолком лампа. Брат сидел на ящичке и пил чай с обколотого блюдечка, в которое ему наливал из огромного белого трактирного чайника краснощекий Филя, городской мальчик, лет четырнадцати, живший, как и все мальчики, у нас в доме, в “молодцовской”. Здесь брат был общий любимец. Все его величали: Василий Николаевич. Василий Николаевич, сидя на ящичке, устланном белой бумагой, раздавал направо и налево заказы: нужно было, пользуясь кратким пребыванием в подвале, приготовить для дому, для военных и строительных нужд, новые запасы веревок, картону, олову от пломб и товара, бумаги, мочалок и др<угих> припасов для вооружения оловянных солдатиков, для постройки крепости и сооружения великолепных воздушных змеев с трещотками. Весь нужный материал был уже обозрен и отобран братом. Мальчик увязывал все это, а Филя, поя брата чаем, беседовал с ним. Брат говорил ему:

— У бабушки будет сегодня генерал, — а артельщик Иван Семеныч, пакуя ящик, возражал:

— У монахинь не бывают генералы, Василий Николаевич.

— Бывают, — отвечал брат, — но без оружия. Бабушка важная. Генерал поздравит — и уедет. Больше ничего.

— А я, Василий Николаевич, читал про “белого генерала”, — сообщает брату потихоньку Филя, — у нас тут книжка есть.

И вот уже в руках брата замусоленная, исчерканная, перечитанная от скуки по многу раз всеми “подвальными” книжка про Скобелева. Брат не умеет читать, но делает вид, что читает ее, листая. Лицо у него серьезно.

— Под “белым генералом” бомбой лошадь убило, — с восторгом шепчет брату Филька.

— А он? — еще тише спрашивает брат, и лицо его становится еще серьезнее.

— Он уцелел, — отвечает Филька. Брат облегченно вздыхает и молча, не спеша, листает книжку.

Я зову его наверх, к маме, но нам обоим не хочется уходить. Брат показывает мне сверток со своими припасами, и, чтобы мама не забранила, мы решаем положить его потихоньку в пролетку, послав Фильку на это опасное дело. Филька уходит и через две минуты возвращается и громко объявляет:

— Мамаша идет садиться! — Мы прощаемся и бежим по лестнице, а Филька на ходу сообщает брату на ухо: — Готово дело.

Мать в дверях прощалась с Анисимом Прохоровичем и говорила нам торопливо:

— Садитесь, садитесь, дети. Мы опоздаем.

Андрей трогал, и через четверть часа мы были у святых ворот монастыря.

2

Монастырь был на окраине города. Одноглавый древний собор был почти не виден за высокой стеной; только золотой крест с золотыми цепями, прикреплёнными к синей главе, сиял в осеннем небе четко и празднично.

У святых ворот мы выходили из пролетки, а Андрей въезжал внутрь монастыря с переулка, в черные ворота. У святых врат, на столике, покрытом голубой пеленой, стояла праздничная икона — Глава Иоанна Предтечи на блюде, в медном окладе. Перед иконою горел пучок свечей, оплывавших на ветру; их было так много, что пламя свечей сливалось в один густой, плотный, красный язык, который колебался в разные стороны. Возле иконы стояла чаша со святой водой, и две монахини продавали и ставили свечи. Мама дала на свечку, мы приложились к иконе. Это было начало праздника. Мы с братом, сняв шапки, прошли в святые ворота. К собору вела дорожка под кленами, которые все еще были густы, все в золотом и красном. На дорожке, лицом к собору, на коленях стоял мальчик и молился, беспрестанно кладя поклоны.

Увидав маму, он встал под кленом и молча улыбался. Мальчик оказался не мальчик, а худенький мужичок, весь в белом, босой, безбородый, с редкими белыми волосами.

— Молись, молись, Егорушка, — сказала мама, поклонившись ему. — Мы тебе не помеха.

Мужичок наклонял голову и взмахивал ею кверху, обхватывая ее руками, и сокрушенно качал ею. Потом, не говоря ни слова, позади нас, стал опять на колени и стал молиться на собор.

— Мама, что он? — спросил брат. — Ему больно?

— Не ему больно, — отвечала мама, — а он показывает, как Крестителю в сей день было больно. Он праведный человек.

С этими словами: “праведный человек” — мы вошли в собор; с этих пор я знаю это слово: оно в этот день, как свеча, зажглось в моей душе и горит неугасимо.

В соборе только что кончилась обедня и начался молебен Предтече перед древним его образом, где он изображен с крыльями, — огромными золотыми крыльями, — худой и изможденный, с чашей в руке, а в ней младенец Христос*. Мы стояли в толпе. Было душно и жарко. Стены, покрытые древними фресками, были мокры. Свечи в паникадилах горели тускло и тревожно, и иногда тяжелые восковые капли капали на молящихся. Когда молебен кончился, к нам подошла монахиня, поклонилась маме, подняла брата на руки и понесла прикладываться к иконе. После прикладывания к образу она наде-ла на голову брата тонкий серебряный обруч:

— Проси, милый, Предтечу: не будет головка болеть.

Начался новый молебен.

Когда мы отошли от иконы, мама одернула на нас костюмчики и повела к окну. Там стояла монахиня в длинной мантии, застилавшей своим низом широкий черный круг на полу. Все монахини, кто проходил мимо нее, низко кланялись, а она еще ниже кланялась им в ответ, — и когда мы подошли к ней — мы с братом вперед, мама позади, — монахиня обернулась, и маленькое, все в морщинках, личико глянуло на нас с такою улыбкою, с таким приветом, что мы в два голоса воскликнули:

— Бабушка!

Мама поцеловала у нее руку и нам приказала сделать то же. А она наклонилась и сказала тихо-тихо, еле слышно:

— С праздником, Аночка. Иди с детками ко мне, а я у матери игуменьи не замешкаюсь и скоро буду домой.

Бабушкина келья была в глубине монастырского двора: серый домик в три окошка с зеленой кровлей, над которой торчал шест со скворешником; перед домиком был маленький палисадник, в котором доцветали малиновые мохнатые астры и крупные оранжевые настурции. На крыльечке нас встретила Парасковеюшка, бабушкина келейница.

В домике бабушки было всего три комнатки с прихожей и кухонкой. В прихожей увидели мы няню Агафью Тихоновну. Она принялась нас раздевать, а мама ее спросила про пирог.

— Довезла. На столе-с, — с гордостью отвечала няня.

— Удастся, матушка Анна Павловна, удастся, — подхватила Параскевушка. — Пышен — будто пухом набит.

— Ну, слава Богу! — сказала мама и вышла в светлицу.

Скворец заворочился в зеленой клетке и стал покрикивать дружелюбно и зазывно.

— Ну, с праздником, с праздником, Мишка! — улыбнулась мама. — Дам сухарика тебе, как чай будем пить. Не забудь, Сережа, дать ему.

Скворец был стар, и шубка у него была линючая.

Нас посадили на высокие бабушкины стулья у окон. Ноги у нас не доставали до полу. Нужно было тихо и чинно сидеть до прихода бабушки. Комнатка была мала, низка, тесна, но я не видывал никогда комнаты более белой. Все было в ней белое: подоконники казались белого мрамора по чистоте; потолок и стены были выбелены чисто-начисто: по стенам будто снег прошел липкий и новый; пол был некрашенный, но вымытый до такой чистоты, что хотелось поджать ноги и сидеть неподвижно, чтобы только не дотронуть-

* Речь идет об иконе “Иоанн Предтеча — Ангел пустыни”.

ся до него и не загрязнить. На окнах висели полотняные занавески, вышитые гладью фестонами. В красном углу на полке, устланной узорным полотенцем, была огромная древняя икона в шитой жемчугами ризе — Нерукотворный Образ. Перед нею висела хрустальная лампада на цепи из граненых хрусталиков.

Посреди тесной светлицы стол с белоснежной камчатой скатертью* был уставлен постными закусками, окружавшими привезенный няней пирог.

Брат шепнул мне: а где кот?

— Не знаю, — тихо отвечал я.

— Он обедает, — предположил брат, — мышинной ветчинкой.

— Такой не бывает, — отвечал я.

— Бывает и крысиная, — сказал брат.

— Молчите, — окликнула нас мать, смотря в окно. — Бабушка идет.

Что надо сделать, когда она войдет?

— Поздравить с праздником, — отвечал я.

— И ручку поцеловать.

— Спрошу про кота, — шепнул мне брат.

Я посмотрел в окно: бабушка шла от собору с двумя молодыми монашками, поддерживающими ее под руки. Широкая ее мантия застилала дорожку во всю ширину. Через минуту бабушка вошла в домик. Маменька сняла с нее мантию — и она вошла в светличку маленькой сторбленной старушкой, подошла к образу и помолилась. Мать поставила нас сзади нее, и когда бабушка обернулась к нам, мы оба в голос сказали:

— Бабинька, поздравляем вас с праздником! — и поклонились, шаркнув ножками.

— И вас также, миленькие мои соколики, — отвечала бабушка, улыбаясь. Она была такая маленькая, сухонькая, с детскими ручками, разрисованными голубыми черточками жилок, с впавшими ямочками у височков, перчерченными толстыми синими жилками, с желтыми, слегка будто порозовевшими, щечками, такая хрупкая, такая легкая, такая тоненькая, что брат вздохнул и, ластясь к ней, простодушно и громко — у него был детский веселый бас — сказал:

— Ах, бабушка, какая ты маленькая!

— К земле, детка, расту, к земельке: маленьким меньше местечка надобно и лежать теплее.

Но брат упрямо допытывался:

— Ты, бабушка, в церкви больше была...

— Нет, милый, это тебе так показалось: в церкви-то я самая маленькая из всех бываю. Так Господь велит.

И она обернулась к Параскевушке, стоявшей у нее за спиной:

— Ну, Параскевушка, матушка, самоварчик бы нам.

Бабушка усадила нас за стол с мамой — и потчевала чаем из синих чашек с золотыми доньшками. Брат подставлял ей чашку и просил:

— С твоим молочком, бабушка, налей, с красным.

— С моим, милый, с моим, — и она вливала ему в чай густого вишневого морсу и, улыбаясь тихою улыбкою, а слезящиеся глаза ее были в паутинках из морщинок, спрашивала: — У вас, верно, нет такого молочка, как у бабушки?

— Нету, — серьезно отвечал брат. — Откуда оно у тебя, бабушка?

— От вишневой коровки.

Морщинки расходились сеточкой от глаз — и бабушка улыбалась и гладила маленькой ручкой по голове Васю и меня. Брат большими своими карими глазами смотрел на бабушку, а потом переводил на маму.

— Кушай, кушай, — говорила мама, — и благодари бабушку.

Потом бабушка потчевала всякими постными закусками: их было множество, но всего понемногу, на фарфоровых блюдечках: грибки, огурчики, оладушки, моченые яблоки.

* Камчатый, камковый: — сделанный из камки. Камка — шелковая китайская ткань с разводами.

— Отчего, бабушка, у тебя такие маленькие огурчики? — спрашивает брат.

— Оттого, батюшка, что я и сама маленькая: мне больших-то и не пость.

— А у нас — большие.

— Да ведь и ты, батюшка, большой.

И опять погладила по голове.

Кукушка на часах прокуковала один раз — и скворец в клетке уморительно передразнивал ее. Мы с братом весело смеялись, а мать забеспокоилась.

— Тетушка, надо бы, я чаю, стол приготовить для гостей. Будет вам: небось уж сыты, — остановила она нас, видя, что брат просит оладушка, а я просил перцовых огурчиков. Но бабушка вступилась за нас:

— И, матушка Аночка, оставь их: пусть кушают. Дело молодое: ешь, покамест естся, пей, покамест пьется. Придет время, сами перестанут. Я посижу с ними.

— Не обрели бы они вас, тетушка, — сказала мать, вставая и молясь на образ, — покорно благодарю. Я велю фрукты принести.

Она вернулась с няней, несшей корзину с грушами; они принялись обтирать фрукты и укладывать их в плетеную корзинку. Мать вытащила оттуда яблоко и изумленно проговорила:

— Яблоко-то откуда же?

Яблоко было большое, краснощекое, круглое, из сорта “добрый крестьянин”.

— Вот искушение-то! — ахнула в дверях келейница Параскевушка. — Во всем доме у нас круглого сегодня нет. Грех какой!

Брат густо покраснел и принялся усиленно, со звоном, размешивать ложечкой сахар в чашке. Мать строго на него посмотрела.

— Василий, твои штуки! Не звони: не звонарь!

Брат оставил ложечку, и в глазах у него навернулись слезы. Но бабушка сказала:

— Что ты на него, матушка? Это он на завтра меня, старуху, яблочком захотел побаловать. Ишь, яблочек-то какой румяный, будто Васенька. Дайка мне его сюда, Прасковьюшка: я его к себе в комод уберу.

Она приняла яблоко от Прасковьи и унесла в свою келейку.

— Ну, дети, идите с няней, — сказала мать. — Вон к бабушке гости идут.

Няня отвела нас в келейничскую. Это была маленькая комнатка в два окна, упиравшиеся в монастырскую стену. Угол возле окон был уставлен весь иконами в киотцах, в золотых рамочках, в фольговых украшениях; вербы, с умильными херувимами из воску, были заткнуты за иконами. Горели три лампадки — синяя, зеленая, розовая; к ним подвешены были воощенные яйца в серебряных блестящих. На иконах были блеклые венчики из бумажных цветов. К простенкам были стоймя прислонены пяльцы с вшитыми в них одеялами для стеганья — и простыней для строчки. Пяльцы были обернуты в простыни, прикрепленные булавками. Посреди комнаты стоял стол, за которым сидели две монашки в апостольниках*, старичок монах в полинялой рясе, с редкими седыми волосами, рядом с ним высокий чернобровый мужчина в поддевке из синего сукна. Параскевушка разливала чай, стоя у большого самовара, поставленного подле стола, на табуретке, а другая келейница, молоденькая Марьюшка, подавала чай гостям и обносила их едой с печенем, вареньем, соленем, установленной на подносе с рыцарским замком и дамою. Гости потеснились и дали место няне с нами. Помолчали.

— Приехали поздравить бабушку с праздником? — осведомилась у меня старшая монахиня, с тремя длинными волосками на подбородке, росшими из родимого пятна.

Я потупился.

— Отвечай же матушке, — шепнула мне няня.

* Апостольник — плат, которым монахи покрывают грудь и шею; куколь.

— Да, — сказал я. — Мы бабушку любим.

— И подобает, — отозвался седой монах, — и подобает не только любить, но и почитать... И почитать, и почитать! — повторял он, точно обрадовавшись, что попал на это слово. — И почитать! Мед у вас, мать Параскева, — прервал он сам себя, — дивный: благоухает.

— Кушайте на здоровье!

— В этом году меду благоухание, — ответила монахиня с волосиками. — Травы цвели превосходно. Мать игуменья посылала меня на хутор, на покос. Открою я, бывало, окно, как к утрени вставать, а из окна, от трав, благоухание, будто ладаном росным окажено.

— А я возвращаюсь к слову своему: и почитать! Мать Ирина — дивная старица.

— Мало ныне уж таких, мало, — откликнулась вторая монахиня, худая серая старушка в медных очках.

— Воистину — молитвенница! — сказала няня. — Васенька наш, — она погладила брата по спине, — родился болезненный. Почти ничего не ел. Плачет, бывало, плачет, а доктор рукой машет: ничего, мол, не могу, и, наконец, сказал: вы, дескать, денег мне не давайте: я ездить езжу, но в пользу не верую, а для своего, докторского, любопытства: как конец обернется. И порешили мы с барыней под образа Васеньку положить: не мучить боле, а на волю Божию. Доктор это увидел, махнул рукой и больше не приезжал. Только мы его проводили, а матушка Ирина к нам.

— Никуда не ездит, а тут приехала, — отрезала значительно Параскевушка.

— Приехала — и прямо к Васеньке идет. Мы за нею. Нет, говорит, я одна побуду. Вы устали, небось.

— Ну, это не спроста. Не “устали”, а не спроста, — сказала монахиня в очках.

— Простое ли дело? — сказала няня. — Мы за дверь отошли. А она подле него, на колени стала и так-то молилась, так молилась. Мы видим, а она нас нет...

— Ну, это кто знает? — сказала Параскева. — Видит, нет ли.

— А потом встала, нас позвала, кажет нам личико Васенькино. Видите, говорит, к здоровью этот сон у него. А у него носик худой, будто у птички. — Боюсь, матушка, умрет: барыня это говорит. — Ах, мать, мать! — отвечает, — плохо ты смотришь; говорю тебе: видишь, улыбка у него во сне: к здоровью это. Жестко ему здесь лежать, перенесите-ка в детскую, в кроватку. Ишь он ручку откинул. — А мы было, тетушка, нарочно его под Богом положили здесь... — А я что же говорю: мать, мать, плохо слушаешь; и я говорю: отнеси в кроватку, под Богом — Бог несть бог мертвых, но бог живых... И будто все по-нашему она говорит, а все не наше выходит, не как у нас... Собралась тетушка уезжать и говорит: привозите, говорит, его через неделю в монастырь причащать, к Ивану Предтече. — Хорошо, — а мы думаем: как повезем? Не пришлось бы в монастырь на кладбище нести...

— Неверие ваше, — сказал монах.

— И что ж, действительно, целый день Васенька спал, а проснулся — кушать попросил. И пошло, и пошло: по фунту, по два в день здоровье вливалось. И причастили мы его в воскресенье, в монастыре, — и вот он у нас, молодец какой! Чтобы не сглазить.

Няня поцеловала Васю. Помолчали.

— Старица! — сказал монах.

В это время за дверью мягкой скороговоркой произнес кто-то:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

— Аминь, — отвечала Параскевушка, и вошел тот белый мужичок, который клал поклоны подле собора, на кленовой дорожке.

— Егорушка, здравствуй, — сказала Марьюшка.

Все ему обрадовались. Монах стал тесниться — и вытеснил ему местечко возле себя. Но Егорушка не сел, а только рукой дотронулся до места, а сам весело заговорил, потряхивая волосами:

— Я с ним, я с ним! — и указывал на брата.

Брат не сразу привыкал к чужим людям и молчал при них долго, и няня опасливо посмотрела было на Егорушку. Но брат, сидевший с краю, ближе всех из нас к Егорушке, стал тесниться к ней, — и около него очистилось местечко. Егорушка — и занял его не все. Он полез в карман и, выткнув оттуда кусочек воска, подал брату:

— На-ко птичку, на-ко птичку, малец, — вот поет, вот поет!

— Замечайте, — шепнула няне Параскева, — он неспроста.

А брат, взяв “птичку”, — взял со своей тарелки пряник, облитый сахаром, — и подал Егорушке:

— А я тебе пряник!

Монах рассмеялся тут — добрым, старым смехом, удивленным каким-то, и развел руками:

— Ну, что за дитя! Прямо сердце! Простое сердце! На тебе, говорит, пряничек! Это блаженному-то, блаженному...

А Егорушка встряхнул волосами и сказал:

— Блажен, блажен, а Господь Преображен.

— Сегодня не Преображенье, Егорушка, а Усекновенье, — сказала монахиня с волосиками.

— И усекновен, и блажен! — мотнул головой два раза.

— Это он про Предтечу, — шепнула монахиня.

А Егорушка опять полез в карман и, достав оттуда медную пуговку, — протянул ее мне. Я взял и, смутившись, встал, не выходя из-за стола, и низко поклонился ему:

— Благодарю вас.

Сказал я это так, как учили нас говорить старшим.

Монах опять развеселился.

— Господь посреди нас...

Егорушке налили чаю, и он пил его, откусывая маленькие кусочки сахара и макая их в чай.

— Хорошо ли молился сегодня, Егорушка? — спросила монахиня с волосиками.

И впервые тут заговорил мужик в армяке, все время молчавший. Он покачал головой и сказал:

— Господь знает, хорошо ли, плохо ли. Не вопрошай. — И замолчал опять. Мать Параскева, словно вспомнив о нем, обратилась к мужику:

— Чем еще попотчевать вас, Демьян Иванович? Ничего не кушаете.

Он отвечал:

— Бог напирал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел... Матушку увижу ль?

— Увидите, увидите! Скажу матушке.

Параскевушка ушла к бабушке, а мужик, выйдя из-за стола, три раза перекрестился на образа и поклонился нам всем со словами:

— За чай, за сахар, за беседу.

Мы с братом оба взглянули на него, и брат заблестел глазами и, изогнувшись из-за няниной спины, шепнул мне:

— Дядя Сарай!

В самом деле, мужик был огромного роста, — такого огромного, что он, видно, привык сгибаться — и уже не разгибался, должно быть, и в высоких комнатах. Правая рука у него была желта, как шафран, а левая — белая, в черной бороде были правильные белые полосы, как снегом напущенные, от губ до конца бороды, и брови седоваты, а волосы на голове, в скобку, совершенно черные, а глаза — большие, темно-серые, с синеватыми, крупными белками.

Нам с братом он не понравился, и мы глядели на него исподтишка, а на Егорушку улыбались: он, чмокая как ребенок, ел сухарик, на кончик которого положил крошечный кусочек сахару, — и мы следили, слетит кусочек с сухарика или нет. А мужик в поддевке снял со стены чистый холщевый мешок и вынул оттуда что-то — нам показалось: книгу, — завернутое в чистый кусок полотна, и держал в руках, прижав к груди.

В это время вошла бабушка. Тут все выскочили из-за стола и все ей враз поклонились, и обе монахини тронулись было к бабушке, а Егорушка кивал ей

беспреданно головой, но мужик всех отстранил, раскрыл на груди тряпицу — и показывая на писанный красками образ, удерживаемый на груди, сказал:

— Благое Молчание тебе принес, старица честная. Принимай с любовью.

Бабушка метнула земной поклон и приложила к образу, приняла его из рук мужика и высоко приподняла над головой, всем указывая на него:

— Сколь прекрасен Ангел Тишайший! — смотрите, милые!

Брата приподняла няня, и мы с ним смотрели на образ и радовались.

Я после узнал, что это был за образ: это было изображение Спаса — Благое Молчание: Ангел с светлым ликом, в белых одеждах и с белыми крыльями, а руки — в великом мире покоятся крестообразно на груди. Молятся этому образу об умирении сердец, о тишине душ смятенных, о покое божественном, о молчании горнем. А тогда — мы с братом — видели не образ: будто сам Ангел прилетел в этот печально-торжественный день — и обнял нас всех, старых и малых, мудрых и буйных, своим благим молчанием. И было это молчание сладко и нашим детским сердцам, и измученным в тревогах житейских сердцам старых и старших. Егорюшка стал на колени и поник головой до земли.

Наконец, бабушка опустила образ ниже и тихо сказала нам:

— Приложитесь, дети.

И, когда мы приложились, она удержала нас около иконы и чуть слышно сказала:

— А знаете ли, милые, как на земле и мы, грешные, сладостно поем Тихому ангелу, — слышали ли: “Свете Тихий, святые славы!”

Она приподняла опять икону и благословила нас ею, — и сказала другим:

— Ну, приложитесь, приложитесь! Какой лик прекрасный!

Когда все приложились к образу, бабушка передала образ Параскевушке, стоявшей возле нее, и поклонилась мужику.

— Спаси тебя Господи, Демьян Иванович. Обрадовал ты меня, грешную. Дивен лик и тихостен! Благослови тебя Господи. Долго ли писал?

— На Третий Спас* начал, матушка, — отвечал Демьян Иванович, и лицо его посветлело, — отслужил молебен Нерукотворному Образу — и водою святой доску окропил, — и писалось с легкостью, по новгородскому переводу. По твоим молитвам легкота́ была в письме. Не запомню, чтобы так было.

— Господь дал! Все ли у тебя в здоровьи добром?

— Спаси тебя Бог, матушка, все здоровы. Сыты, обуты, одеты. Работа есть. В Прохушево в часовню Деиусе заказали, и Ивана Воина в полк. А ты мне, матушка, работу задай; без того не уйду: твоим заказом моя работа спорится.

— Закажу, закажу, — бабушка улыбнулась: — Я ровно как помещица немилостивая, на всех работу накладываю.

— Какая ты помещица, матушка! — с досадою даже проговорил мужик. — Ты молитвенница. Легкая у тебя рука.

— Рука-то легка, да сама белоручка: без работы сижу, — быстренько проговорила бабушка и, поглядев на нас, обратилась к мужику:

— Внуков-то моих узнал ли, Иваныч?

— Добрые детки, — отвечал тот.

— Ну, вот тебе и заказ: напиши ты малые две иконы — Сергия чудотворца да Василия блаженного на охре, на кипарисе. Благословить их хочу. Это их ангелы.

— Благослови, матушка.

Бабушка перекрестила его — и он стал собирать свой мешок, а бабушка совала ему в руки пряников, конфет и еще чего-то, что он не брал и отстранял от себя, заваливая на себя мешок, — но она строгонько посмотрела на него и молвила:

— А вот и неслух выходишь; борода, а неслух! — и он покорно принял из ее руки и пряники, и конфеты, и груши, и еще что-то, чего больше всего не хотел принять. Она перекрестила его, он поцеловал у нее руку и ушел,

* Третий Спас — 29 (16) августа. В народе Третий Спас — Ореховый, Хлебный, Холщовый.

пригибаясь еще ниже. А Егорушка уже охаживал вокруг бабушки, и улыбался на нее, и протягивал к ней горсточку, приговаривая:

— И мне дай! Дай, дай, маминька!

— Чего ж дать-то? — спрашивала бабушка.

— Сама знаешь, чего! — белая знайка, а не знаешь, у Высокого спроси, с крыльями...

— Про Предтечу он это! — шепнула няне монахиня с волосиками.

— Ну, помолчи, Егорушка, помолчи. Видел, видел: Ангел-то Тихой, Ангел-то Молчаливый... Он молчать велит.

Егорушка сел на пол и пригорюнился.

— Маминька, д-а-а-й! — вдруг жалобно протянул он.

И бабушка, ничего не говоря, вынула из кармана ризы деревянный крестик и благословила им Егорушку, который быстро стал на колени, поцеловал крест и молча спрятал его, а сам подал бабушке маленькое китайское яблочко.

— Да сегодня нельзя, Егорушка, что ты! — замахала на него Параскевушка, а он сердито мотнул на нее головой и затынул:

— О-о-о-о-о...

— Это он говорит, что отнял у кого-то, — догадалась бабушка. — Отнял, что ли?

Егорушка вскочил и радостно затрясся, а монашки-гости проговорили, робея:

— Матушка, это он что сделал: у торговки на базаре все яблоки и арбузы по земле покатали: не дает никому, катит — да и все, матушка, в пыль, в пыль, в мусор... Воют торговки-то.

Егорушка радостно улыбался и головой кивал.

— Опять ты, Егорушка, шумишь, — сказала бабушка. — Ты не шуми. В мире и без твоего шума шумно. Тихому ангелу молись.

Егорушка покорно обернулся к образам и стал истово креститься.

— Сереженька, дай ему грушку, — приказала мне бабушка, и я, робея, подал ее юродивому. Он положил ее перед собою на стол и оглядывал ее со всех сторон, ворочая головою, и гладил рукою по ее розовому пушку.

Мы с Васей не боялись и угощали его, наливали ему на блюдечко чай, а бабушка, смотря на нас троих, слушала, — все стоя, — что ей говорил седой монах. Он жаловался на что-то, чего я не понял, и лицо у бабушки стало другое: разорвалась сеточка морщинок под глазами, лицо будто помолодело, но и построжало. Монашки отодвинулись к пьльцам, а няня вышла. Только Параскевушка по-прежнему стояла подле бабушки, горбатенькая, с головой немного на левый бок, — с нетерпением смотря на монаха.

Вдруг бабушка властно остановила монаха, рукой коснувшись его плеча.

— Помолчи, отец Евстигней. Все поняла. Не надо больше. Его Бог будет судить, — бабушка резко подчеркнула голосом это “Его”, будто хотела показать, что понимает, как много значит это слово для монаха, — а ты суд в своем сердце зачеркни, все Богу передай: там лучше нашего с тобой разберут.

— Матушка, — прервал бабушку монах, седые косички у него на затылке жалко зашевелились, — матушка, передал бы, все передал бы, да тяжело мне. Слякóхся до конца*.

— Не говорю, что легко, — сказала бабушка, — мы с тобою монашествуем, а не легкотуем. В мире легко, — да легко и в трудность геенскую навеки впасть. На труд шел, когда рясу надевал.

— Матушка, — опять прервал ее монах, и слезы были у него на покрасневших глазах, — послушаюсь, по-твоему сделаю, потерплю, а ты помолись... Не мирно мне.

— Помолось, — отвечала бабушка, — а ты отдохни у нас сегодня. К вечерне сходи. Параскевушка, покорми его. А **его**, — опять обратилась она к монаху, опять выделяя слово, — **его** Господь сердцем переменит. К тебе же придет.

* Слякóхся до конца — Пс. 37.7.

— Ну, спаси тебя Господи! — сказал монах, отираясь рукавом и виновато посмотрев на всех, стоя посреди келии.

— Сядь-ка за стол, отец Евстигней, послушание исполни, — сказала ворчливо Прасковья, — матушка гостить тебе приказала, а то под ногами вертишься.

— Да, да, погости у Спасова Крестителя: Он у нас хозяин, — поддержала ее бабушка, — вон внукам моим что-нибудь душеполезное расскажи: как ты зверя тихого в пустыне видел. Ты где ведь не бываешь! Не нам чета, кочкам, недвигам лесным.

Монах, усевшись за столом, заулыбался, а мы стали смотреть на него и ждать. Но он молчал, а бабушка обратилась к монахиням:

— Матери мои, матери! Какие вы труды подняли: я чаю, все ноги притомили, издалеча идучи.

— К тебе, матушка, дорога недалняя, — сказала старая монахиня в медных очках.

— Не ко мне, а к Предтече Господню, — поправила бабушка. — Молились ли в соборе?

— Обедню, матушка, отстояли, — отвечала монашенка с воловиками. — Дивное служение!

— Владыка — молитвенник: наши худые молитвы в охапку взял да к Предтече Господню понес...

— А тот Спасу Милостивому предоставит, — весело и неожиданно подхватил монах. Бабушка ласково обернулась на него:

— Хорошо ты сказал, отец Евстигней.

— Я, матушка, по пословице: скажи Николе, а Он Спасу скажет...

— Это еще лучше, коли не от своего ума. Вот и прошу тебя: внукам моим расскажи что либо умильное.

— Благослови, матушка.

— Бог благословит. — И она опять обернулась к монахиням. — Ну, спаси вас Господи, что пришли, не забыли и меня старуху.

— Подарочки прими, матушка, — сказала монахиня в очках. — Не зыщи. Я тебе паглиночки* теплые связала: когда, может, на руки наденешь.

— Спаси Господи.

— А я — салфеточку; угодила ли, не знаю.

— Спаси Господи, за труды, за любовь. Параскевушка, хорошо ли их покоила?

Обе монахини поклонились враз:

— Много довольны, матушка. Благословите к вечерне сходить.

— Бог благословит.

И бабушка зашептала на ухо Параскевушке, а та молча кивала головой.

На минуту подседа бабушка к столу, и Егорушка, улыбаясь широкою, не сходящею с лица улыбкой, подвинул к ней блюдо, до краев наполненное чаем, в котором плавали размоченные кусочки сухариков. Монашка с волосиками всплеснула руками:

— Что ж ты это, Егор, делаешь? Тебе от матушки угощение принимать, а не тебе ее угощать!

— Ан, не так, — сказала бабушка, — я к ним, к малым, в гости пришла. Чем-то они меня угостят?

Брат подал ей половинку груши и просто сказал:

— Покушай, бабушка. Ты какая-то неедущая: ничего не ешь!

А Егорушка подбавлял в блюдечко с чаем сухариков и кусочков груши и придвигал к бабушке, ласково причмокивая языком. Бабушка наклонилась и сделала глоток из блюда:

— Вкусный у тебя чай, Егорушка!

Он в ответ закивал головой.

Бабушка отведала и от братниной груши, и от тонкого пшеничного сухарика с медом, который я предложил ей.

— Сладкие же у вас сласти, — сказала бабушка, — и не едывала я таких...

* Паглиночки (пагленок, паголенок) — голень чулка.

— Бабушка, ты еще попробуй! — крикнул радостно брат, предлагая ей смокву. — Ты, бабушка, у нас побудь.

И мы все трое — Егорушка, брат и я — принялись угощать и бабушку, и Параскевушку, и монаха и монахинь — **нашим** чаем, **нашими** сухариками, **нашими** дулями. Брат совсем разошелся.

— Бабушка, ты гості у нас! — сказал он, обняв ее рукой. — Я тебе что расскажу...

Я знал, что брат хочет рассказать бабушке. Это были две вещи: первая — в том, что он строит теперь в саду крепость и войску приготовлены ружья — стволы высоких подсолнухов; и другая — спросить самое бабушку — про кота... Это было самое важное. Брат говорил мне, что сам спросит бабушку. Об этом был у нас с ним “уговор, лучше денег”.

— Гошу, гошу у вас, милые, — отвечала бабушка. И брат раскрыл уже рот, чтобы спросить про кота. Это было важнее, чем рассказ про вооруженные подсолнухами...

Но в это время вошла мама и чуть не всплеснула руками, увидев бабушкин чай, которым угощал ее Егорушка, и сообразив сразу, что уж не мы у бабушки в гостях, а она у нас, и хозяйничаем мы...

— Тетушка, — сказала мама, — отец протоиерей вас ждет, и Митрофана Егорыча сын, и дама какая-то...

— Иду, иду, матушка Аночка, — виновато заторопилась бабушка, вылезая из-за стола, но тут же поклонилась нам и сказала ласково:

— Ну, спасибо вам, добрые хозяева, за чай, за сахар, за привет — за совет...

Мама с бабушкой ушли, и вышла к ним Параскевушка, а Марьюшка скоро прибежала за няней.

— Будьте умники, — сказала няня, уходя, и боязливо посмотрела на Егорушку. Но он достал из кармана еще кусочек воску — и лепил из него что-то. Что будет? Мы смотрели с братом.

— Монах, — шепнул я брату.

— Монашка, — отвечал он. Отец Евстигней глянул через стол на воск и сказал:

— Схимник*.

— Что такое схимник? — спросил я.

— У бабушки спросите! — сказала монашка с волосиками.

— А вы не знаете? — сказал я.

— Знает, батюшка, знает, — сказала старшая монахиня, — да мы не ответливы.

— А я не хочу про схимника, — внезапно и решительно объявил брат, — я хочу про тихого зверя...

— Ах, ты, мой кормилец, — обрадовался монах, — вспомнил, бабинькино послушанье мне напомнил. Ну, изволь, изволь.

Брат придвинулся к нему ближе, а монашки посторонились и сели поодаль и сначала слушали, а потом задремали. Егорушка же все лепил свое.

— Видишь, разумный, что матушка вспомнила. Я тридцатый год в монастыре живу, а тогда только жить начинал, молод был, только подрысник надел...

— А у вас были дети? — вдруг перервал брат.

— Нету, милый, нету, у монахов детей не бывает.

— Они неженатые?

— Вот, вот, милый, неженатые.

— Им скучно?

— Они с Богом, с Богом, милый, весело.

— И вам весело?

— Я грешный, милый: грехов у меня много.

Я дернул брата незаметно за рубашку. Мне хотелось слушать.

* Схимник — монах, принявший схиму: великий ангельский образ, монашеский чин, налагающий самые строгие правила.

— И вот, летнее время, выпросился я у отца игумена на богомолье, в Соловецкий монастырь, к окян-мору.

— Там монахи на лодках плавают?

— На кораблецах малых...

Я опять дернул брата, и он замолчал.

— И вот иду я долгие дни, то с мужичками по пути, то с богомольцами, то один. Леса пошли дремучие. Птицы поют, и всякий цветок на своем месте, где ему положено Богом, цветет: иной при дороге, другой на болотце, третий на луговинке, — синий, белый, желтый: кто покрасил? И все благоухают, каждый с своего места. И птички поют: и тоже, каждая с своего места Бога хвалит: иная на виду человеческого, другая в лесной глубине, а третья в синем небе высоко, человеку незримо. Всякое дыхание да хвалит Господа! Без слов оно это слово Божье разумеет и исполняет. Иду это я дорожкой узенькой — и вдруг примечаю: на дорожке — лапотки лежат новеньки. Чьи? думаю. Кто забыл? Поглядел, а в стороне стоит туесок пустой.

— Что такое туесок? — спросил я.

— А это, милый, с обрубка березового бересту цельную снимают да днище и крышку к ней приделают — и служит вместо ведра... Увидел я туесок — подумал: неспроста это. Поглядел вокруг — и примечаю, что будто трава, как тряпочкой, примята. Пошел я в гущину лесную по примятой траве и шел долго. Лес потемнел, и стал я, милые, бояться зверя. Медведи в той стороне лютые: выходят на дорогу и медвежат выводят, и играют на страх человекам. И боюсь, боюсь: ноги подгибаются, и куда, думаю, иду? Вернусь назад! Обернусь и не вижу, где трава примята, где нет: всюду густота. Присел я около сосны, на мху, и заплакал. Вдруг — затрещало вокруг меня, захрустело; лесолом пошел. Понял я, кто идет. Упал я лицом в мох, зарылся лицом до ушей, не дышу, творю молитву, лежу, яко мертв. А зверь надо мной наклонился, дохнул на меня теплым дыханьем своим, лизнул в затылок — и прочь удалился, и слышу: далеко уж ломит свой лесолом. Встаю я. “Господи! — думаю, — зверь мимо прошел, не тронул. Нет, что я! Тронул — языком лизнул: дескать: “на вот тебе: знай, что знаю я, зверь дикий, что ты — человек, и тебе знать даю, но мимо иду и не врежу тебе”. Понял я, милые, звериную эту думу, благодарю Бога, слезы в глазах стоят, а сам вопрошаю себя: “Откуда же это здесь зверь тихий? Откуда зверь милостивый?” А сам все иду в чащобу — и не вижу, что пришел уж: стою на полянке, иван-чай розовый, точно сеянный, колышется ласково, а посреди — избушка, а перед ней пень выкорчеванный, а на пне — старец сидит и с улыбкою меня к себе манит. Пал я на колени, благословился у него — молчу, смотрю в лицо его: светел лик и тих... И сказал он:

— Как ты, раб Божий, дошел доселе? Зверь тебя не потревожил ли?

А я думаю: “Смею ли сказать: потревожил! Не обласкал ли он меня, трусливого и глупого?”

— Нет, — отвечаю, — отче, не потревожил меня никто. Зверь у вас тихий.

Он улыбнулся мне, и еще подобрело его лицо:

— Это ты хорошо сказал, раб Божий: у нас зверь тихий весь.

И — зорко так на меня посмотрел, и я смутился, а он спрашивает:

— А видал ли ты его?

— Кого, батюшка?

— Тихого зверя.

И вижу я, что все ему ведомо. Не смею на него смотреть. Потупил голову. А он опять спрашивает и будто смеется:

— А туесок видел? а лапотки?

— Видел, — говорю.

— Глухой ты. Удивление какое нашел! Туесок да лапотки нас кормят: сплетем их здесь, сготовим, на дорогу положим — придут боголюбцы, возьмут что кому надо, а нам хлебца оставят.

— Да ведь хлеб-то, батюшка, зверь съест.

— Глухой ты какой, непонятливый. Говорю тебе: зверь у нас тихий. Никого не съест.

И поверьте, милые, обернулся я на поляну — и никогда я столько птиц не видал: всем в охотку, видно, здесь гнезда вить. И поют, поют. Ввел меня старец в келейку, а там на лавке другой старец — еще старей первого — лежит, будто дитя малое, — и четки перебирает, а глаза закрыты. Ужаснулся я.

Посадили меня старцы за стол, дали хлеба с солью, да воды ключевой, да морошки лесной, я ем, а в окно кто-то торк, торк. Обертываюсь: вижу голова лосиная. Приподнял старец окошко — и подал сохатому ломоть хлеба... А я молчу. Дивлюсь. Опять тихий зверь, думаю.

И пробыл я у старцев час, — благословили меня оба, указал дорогу младший, поклонился низко и сказал:

— Теперь ступай. Никто тебя не тронет. Тихий ангел тебе в путь.

И ушел от меня. А я на дорогу вышел, к лапоткам и туеску, а их уж нет: вместо них лежит круглый хлебец ячменный да кошелка стоит, а в ней сот два меду, пук свечечек восковых да щепотка ладану. Нагнали меня богомольцы — и пошли мы на Сію, к угоднику Божию Антонию.

Монашки обе дремали возле пяльцев, брат, оперши щеку рукою, не отрываясь, смотрел на монаха, а мне Егорушка совал в руки восковую фигурку.

— Вот, милые, — сказал отец Евстигней, — исполнил я бабынькино послушание: рассказал вам про тихого зверя. Больше ничего не знаю.

Егорушка поднялся с своего места, перекрестился на образ и, бормоча что-то про себя, вышел было из комнаты, показался опять на миг, сделал земной поклон — и ушел...

Брат спросил:

— А медведь был большой?

— Не видал, милый, — отвечал отец Евстигней. — Трусоват был Ваня бедный.

— Какой Ваня?

— Да я был Ваня. Я же и трусоват. Такой стих есть.

В это время вошла няня с Параскевушкой, а монашки у пялец очнулись от лишней дремоты и всполохнулись:

— К вечерне, гляди, скоро зазвонят, а мы еще у матери Надежды не были. У нас к ней от матери казначеи поручение.

— Ну, что ж, подите, — сказала Параскева, — а после вечерни зайдите — на путь матушка благословит.

Монашки вышли, няня принялась прибирать на столе, перекидываясь изредка словами с монахом, а Параскевушка, присевшая было на минутку, вдруг встала со стула и заахала:

— Батюшки мои, образ-то “Благое Молчание” не утвердила я у матушки, да и лампадки надо бы поправить.

Она хотела идти в бабушкину комнату. Я робко попросил, как о великом и невозможном счастье:

— А нам можно с вами?

Просил Параскевушку я, а не брат, потому что я чувствовал, что она меньше любит брата. Я решил это потому, что слышал, как она раз говорила няне про брата:

— Боек, нянюшка, больно боек, — и хоть няня защищала брата: “Дитя, мол, что с него взять!” — Параскевушка нашла, что сказать: — Все, нянюшка, дети, а одно бывает — дитя тихое, а другое — бой боем. <...>

Я думаю, что брат чувствовал, что Параскевушка больше любит меня, и при ней больше помалкивал. А мне было стыдно, если я замечал, что брата любят меньше меня, потому что нас отец, ни мать не “делили”, и мы жили дружно, и большинство игрушек — у нас были “общие”: когда кому-нибудь из нас дарили новую игрушку на рождение или именины, то или и другому, не-именинику, — тоже что-нибудь дарили, или получивший игрушку заявлял: “эта будет общая!” — и самые веселые игрушки были общие.

— Можно, — отвечала на мою просьбу Параскевушка, и мы пошли с братом за нею в бабушкину комнату. Оба мы притихли.

Бабушкина келья была еще тесней, чем “светлица” и келейницкая. Она казалась еще меньше оттого, что в ней всегда стоял полумрак: единственное окно было занавешено сплошь частой кисеей, а пониже еще и темно-зеленой занавесочкой; даже одна из ставень, за окном, была закрыта.

В переднем углу у бабушки стояла дубовая божница, а в ней, при свете трех лампад, двух висячих и одной стоячей, на деревянной подставке, — тускло сверкали серебряные и золоченые оклады икон и темнели лики. Перед божницей стоял аналой, покрытый пеленою из синего шелка, вышитого белыми розами, а нем лежала толстая, закапанная воском, псалтырь; открытую страницу пересекала широкая закладка из бумажной канвы, шитой шелками, с концами из малиновых лент. Перед аналоем был раскинут маленький, шитый тюльпанами коврик. По стене, примыкая к божнице, были еще две дубовые полки, устланные белыми строчеными полотенцами.

Мать Параскева положила поклон перед аналоем и нам приказала положить, приняла с аналая лежавшую на книге икону — и принялась уставлять ее на нижней полке. А мы смотрели и дивились. Чего только не было на двух этих полках! Был деревянный, пятиглавый с золочеными крестами, храм, непонятным образом вмещенный в обыкновенную стеклянную бутылку, — а пробка была у нее в виде синего купола с крестом. Подле стояла вытесненная из дерева фигура сидячего монаха: весь в черном, с белыми крестами на куколе и на епитрахили, опустив глаза, сложив руки, сидел он, и нельзя было понять, мертв ли он, или спит, или погружен в молитву...

— Он умер? — шепнул мне на ухо брат.

— Спрошу, — еще тише отвечал я, но долго не решался спросить. Все-таки спросил.

— Нет, он не умер, — ответила мать Параскева. — Нил Преподобный — это столобенский угодник. На озере, на острове, подвизался. Угодники Божии не умирают. Они уснут смертным сном, а Господь их в царстве небесном разбудит. Со ангелами, со архангелами.

— Ангелы не спят, — вздохнув сказал брат.

Я с тревогой посмотрел на келейную, но она похвалила брата:

— Вот верно сказал. Ангелы сна не знают. Умник.

— Они нас хранят, — сказал я.

— Да, нас хранят. В молитве как сказано: “Ангеле Божий, хранителю мой святой...” Значит, когда же ангелу спать?

...А рядом с деревянным черным старцем стояло деревянное же распятие. Мы долго смотрели на него. У креста стояли, раскрашенные яркими красками, Божия Матерь и апостол Иоанн, и воины в касках, со злыми лицами и раскрытыми широко ртами, в которых виднелись белые и крупные, как камешки, зубы. На Спасителе был терновый венец, а из боку у него текла кровь — алой, острой струйкой по белому, как снег, телу. Гвозди черными большими выпуклыми точками крупнели на ладонях и ступнях Спасителя. От лампы на Распятие падал свет — бледный, аловатый, грустный, — и нам было страшно и жутко смотреть на Господню муку.

— Мух бьешь, небось? — внезапно обратилась к брату Параскева, приметив, что он не отрывает глаз от Распятия.

Он ничего не ответил, — и нам стало еще страшнее.

— А вот и нельзя! — резко сказала Параскева. — Нельзя! Бить нельзя. Знаешь, что было? Видишь, коими гвоздями Господа пригвоздили ко кресту? Страшные, черные, ржавые. Пригвоздили ручки и ножки, а злобе все мало: “Давайте, — первосвященники, собор сатанин, говорят, — давайте в грудь Ему, в самое сердце, гвоздь вобьем самый ржавый: Ему больней будет, и крепче ко кресту прибьем”. И велели принести гвоздь. А мушка это услышала — черная мушка, большая, жужжалка крупная — пожалела Спаса Господа, и к Нему на тело пречистое, о то самое место, где сердце, и села — и сидит недвижно, не шелохнется. Пришли воины с гвоздем, видят: шляпка от гвоздя у Господа на груди видна, — и говорят первосвященникам: “Что ж вы зря нас гоняете? Злоба ваша, видно, ослепла: смотрите, и так в то са-

мое место, куда хотите, гвоздь уж забит: вот и шляпка торчит!” Смотрят первосвященники — и правда: шляпка видна. Воины гвоздь закинули за гору, за Голгофу, а мушка-жалостница, пока Господь на кресте висел, все время на груди у него просидела. Так гвоздь в сердце Господу и не вбили. Вот и нельзя мух бить... Понял? Нельзя!

Мы молчали.

Она сняла букет засохших трав, тщательно перевязанный лентой, и показала его нам: будто бусинки желтели на увядших стеблях:

— Это — плакун-трава*. Когда мать — Пресвятая Богородица шла в горести с Голгофы и капали у нее слезки на землю, — ни одной слезы мать-земля не пропустила, все до одной сохранила, и выросла плакун-трава, будто от горя к земле пригибается, — и слезки пречистые на ней окаменели.

Она провела нам по лицу пучком сухой травы — и сказала, убирая пучок на полку:

— Это для здоровья. Чтобы глазки не плакали. Господь всякую слезу на небо берет, а ангел им счет ведет. Ни одной слезы несчитанной нет.

— А животные плачут? — спросил я.

— А ты думаешь: нет? Конечно, плачут. Только их слезы другой ангел, чем людские, считает — и не в людской счет они вписаны, а в особый.

— А зачем? — спросил я.

— А затем, что в оный день ангел их Господу представит.

— Какой оный?

— Оный — судный. На Страшном Суде Господу весь звериный счет покажет, сколько какой зверь от человека потерпел и слез пролил, и с человека того Господь каждую слезу звериную взыщет...

Брат положил мне руку на плечо.

— И Васька плачет? — сказал он и покраснел.

— Плачет, — сказала Параскева, — только не от горести, — бабинька его любит, обидчиков ему нет, — а стареет — оттого и плачет... А вы помните мое, старухино слово: никакого зверя не обижайте: звериная слеза тяжелая. Она с человека взыщется. Зверь молчит, а плачет: в слезе его слово, и ангел слово это слышит...

Параскева присела на скамеечку возле бабушкиной постели. А мы сидели возле, на горбом тряпичном коврикe.

Еще давно мы заприметили: на высокой скамеечке, стоявшей поодаль от кровати, спал большой, рыжий с белым, кот: голову положил на вытянутые передние лапы, а хвост свесил с скамейки; морда рыжая, только на лбу белое пятно в грецкий орех, — волосат: усы длинные, как две белые струйки, бегут в разные стороны, и на щеках кустики волос торчат, и в бровях волос, как фонтан, бьет, а нос — розовый и свежий, как лепесток розана. Видели мы: не поднимая головы, повел глазами — крупные, желтые, как желтый топаз с изумрудными вставочками, с изумрудной гранью, — повел на нас глазами недовольно и сонно и опять заснул. А когда Параскевушка уселась на другой скамейке, близ его, котовой, скамьи, он поднял голову, повел носом, зевнул, слез со скамьи, потянулся в самую долгую растяжку — перед матерью Параскевой — и, мурлыча, вспрыгнул — с осторожностью — ей на колени.

— От кого же это мне, сударь кот, денежки получить? — промолвила она ему. — Ну, говори, от кого?

Она водила рукой по шерсти, а он пел долгую, тягучую, как старое доброе вино, песенку, и то жмурил, то приоткрывал умные свои янтарные зрачки, сверкавшие в полутьме изумрудами.

— Не считаны еще те денежки, которые нам с тобою получать, сударь кот! Верно тебе говорю, верно, Василий Иваныч...

Никогда не слышали мы таких разговоров с котами. Наш домашний Васька попросту ловил мышей, ел печенку, бегал с нами в прятки, пел нехитрые песенки — и никто с ним никогда не разговаривал. Мы, дивуясь, слушали Параскевкин разговор.

* Плакун-трава — трава, от коей плачут бесы и ведьмы; корень ее собирают в Иванову ночь, и он хранит от соблазна.

А Параскевушка продолжала:

— Без денег хороши, сударь Василий Иванович, — деньги в мир ход, а к монахам нѣход: в миру денежка звенит, а в монастыре, как тля, тлит...

— Урлы, урлы, урлы-рлы-лы — у-рлы! — отвечал кот, — правда, отвечал, потому что он притишал, а то и вовсе сводил на нет свою песенку, пока Параскевушка с ним говорила, а только что она умолкала — он заводил тягучей и громче покойную свою песенку — умную песню. И спина у него изгибалась приятно мягкой волною.

— Прожили без денег, сударь Василий Иванович, и, Бог даст, доживем без денег. Будут добрые люди — будет и молочко тебе, — будут, будет, — она ласково и размеренно водила по спине кота худой своею рукою.

А мы, не сводя глаз, присев на корточках, смотрели на кота. Изумрудные огни в глазах у него то еле мерцали, то наливались острым, глубоким светом. А рыже-белая спина все выгибалась и опускалась, опускалась и выгибалась, как гребень вечной волны. И вдруг кот закашлял, вытянув морду, закашлял сухим, старческим кашлем, с передышками, сменявшимися новым кашлем, — и глаза его сделались еще умнее, и весь он вытянулся от напряжения.

— Старики мы стали с тобою, кот Василий Иванович, — сказала грустно Параскева, — копеечки за нас не дадут. Что на меня глядишь? Стар, сударь, стар.

Кот свернулся в клубок и затих.

— Ишь, и поседел...

Тут мы с братом ахнули от удивленья и нагнулись на корточках над котом.

— Как поседел?

— А вот, изволь, гляди, батюшка, — сказала Параскевушка и указала на темя кота. Оно было густо-рыжее в коричнѣту и лоснилось, но там и сям виднелись на коричнѣте — белые волосы, котова седина. Параскевушка погладила кота по голове и сказала со вздохом:

— Зима-то для всех равно, батюшки мои, приходит: и для человека, и для зверя. Всех снег серебрит, а посеребрит, посеребрит, полежит снежок на головушке, — и в могилку.

Она пригорюнилась на минутку, встала со скамейки и перенесла кота на его скамейку.

— Ступай-ка лежи, сударь, а я тебе поесть принесу.

Но удивлениям нашим не был еще конец.

Параскевушка открыла ящик бабушкина комода и вынула оттуда тяжелый серебряный портсигар. На крышке портсигара, под слюдою, была миниатюра; на слоновой кости был изображен большой рыже-белый кот; он лежал на всех четырех лапках и смотрел чуть прищуренными желтыми глазами.

— Вот какой молодец был сударь-то наш кот! — сказала Параскевушка, показывая нам портсигар. — Молодец был и красавец.

— Это Васькин портрет? — сказал брат.

Он смотрел то на Ваську, то на портсигар и не верил глазам.

— Портрет. Художник писал. По заказу.

— А почему?

Но Параскевушка спрятала портсигар и отрезала:

— Долга песня. Вырастешь — узнаешь.

Ах, это “вырастешь — узнаешь!” Часто мы это слышали — и не было ничего хуже — слышать это от папы, от мамы, от няни, от всех старших.

Почему снят был с Васьки портрет? почему на портсигаре? почему портсигар у бабушки? “Вырастешь — узнаешь!”

Няню мы спрашивали обыкновенно после этих слов: “А когда я вырасту?” — и она отвечала: <“>“Когда будешь большой”. — “А когда буду большой?” — “Когда вырастешь”. Ничего из спрашивания не выходило, но тут было так интересно, так все таинственно: кот седой; кот кашляет — и он же молодой, красками, на портсигаре — что я уж хотел задать Параскевушке вопрос, когда совсем неожиданно отворилась дверь из светлицы, и вошла сама бабушка. Завидев ее, кот осторожненько слез со скамейки и пошел к ней,

тихо мурлыкая. Подойдя к бабушке, он потерялся мордочкой о нее, поджал лапки и лег на полу.

— Куда припелся? Лежал бы, — сказала бабушка. Но тут же заторопилась:

— За вами я пришла, милые, — пойдемте-ка: отец архимандрит благословит вас.

А нам не хотелось идти из бабушкиной комнаты. Столько вопросов хотели мы задать бабушке, а главное, главное — спросить о коте. Но бабушка зорко оглядела нас обоих с ног до головы, оправила на Васе рубашку, провела гребнем по моему непокорному вихру на макушке, посмотрела на наши руки: чисты ли, — и повела нас с собою в светлицу, а кот пошелся недовольно на свою подстилку.

В светлице за столом было полно народу. Тут были мама, отец в черном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, Анисим Прохорыч с золотой медалью на шее, две-три важных монахини, игуменья с золотым крестом на груди, а поодаль от всех, — с промежутком, — на кресле сидел важный седой монах с длинной бородою, в выпуклых очках, с несколькими крестами на цепочках и на лентах на груди.

К важному монаху подвела нас бабушка, сперва меня, потом Васю, и сказала:

— Вот, отец архимандрит, внуки мои! Благословите.

Архимандрит встал с кресел, благословил нас белою пухлой рукой и дал ее поцеловать. Мы, получив благословение, стояли перед ним, брат рассматривал его ордена, а он, обернувшись к отцу, сказал:

— Божие благословение, Вам ниспосланное, вижу в сих чадах, почтеннейший Николай Иванович...

Отец был простой человек и отвечал просто:

— Бога благодарю, ваше высокопреподобие: ребятки хорошие.

— По молитвам матушки, — продолжал архимандрит, — Бог поможет, и возрастите, и образуете, и утешение получите, яко Иосиф. Чада утешительны к старости...

А брат, любитель и знаток военных отличий и орденов, жаловавший ими щедро своих оловянных и деревянных генералов, смотрел на архимандричьи кресты на орденских лентах, — смотрел и думал и, насмотревшись, прямо и просто спросил архимандрита:

— Вы — генерал?

Я видел, как отец улыбнулся и спрятал улыбку, игуменья покачала головой, мама недовольно посмотрела на брата, а бабушка — маленькая и тихая — зашептала что-то брату, и голова у нее тряслась от старости и усталости хлопотного дня.

Архимандрит спокойно и вразумительно отвечал брату:

— Ордена даются, милый мой, не одним тем, кто воинствует оружием, но и тем, кто подвизается в духовной брани...

Брат ничего не понял из этого объяснения и, вероятно, запомнив из всего только одно слово “оружие”, простодушно спросил:

— Вы были на войне?

— Не был, милый, не был, — несколько уже досадливо отвечал архимандрит. — Я не генерал, — и обратившись к матери, сказал: — Простота детская!

Не помню, что ответила ему мать.

Брату было неинтересно дальше спрашивать, и он не любил быть среди незнакомых взрослых, и не знал, можно ли идти ему, или нет; и я не знал, — но пока мама отвечала что-то архимандриту, а тот ей, брат вдруг что-то вспомнил, глазки у него заблестели и, подбежав к бабушке, он громко заговорил:

— Бабушка, бабушка, а что я вас хочу спросить!

— Что, милый?

Старушка с любовью смотрела на него и ждала, а он на минутку потупился и притихшим голоском сказал:

— Бабушка, вы — старица?

Взрослые переглянулись и улыбнулись, старшая монахиня что-то шепнула с довольным видом игуменье, а та — матери, бабушка же закивала головою, с ласковым упреком глядя на брата:

— Нет, милый, я не старица, — я простая старуха, — больная, да старая, да грешная.

Она была смущена и подавлена.

Мама обернулась к нам из-за стола и сказала:

— Поклонитесь, дети, поблагодарите за внимание и идите к няне.

А няня была уже в дверях.

В это время — гулко и весело полоснул воздух первый удар монастырского колокола, звавший к вечерне. Все перекрестились.

Гости встали из-за стола. Все пошли в церковь. После вечерни бабушка провожала нас до святых ворот. Она перекрестила нас дрожащею рукою и поцеловала в лоб, и когда брат крикнул ей с пролетки:

— Бабушка, ты приезжай к нам!

Она ответила с грустью:

— И, милый, бабушка сидячая стала — камешком на месте лежит. Ты-то к бабушке приедешь ли?

— Приедем! — крикнули мы с братом. Нам стало ее почему-то жаль.

— Приедем! — повторили мы.

Долго мы оглядывались на монастырь. Бабушка стояла в воротах и крестила нас.

А вверху нашей пролетки — мы ехали с няней и со Степаном на второй пролетке, — уже заветный “бабушкин кулечек”.

Кулечек позволялось развязать лишь на другой день, — “а то и так вас бабушка залакомила”, — но мы знали, что там было: были всякие сласти и еще какие-нибудь бабушкины особые подарочки: либо бисерный кошелек, либо бисерная же вставочка для перьев, либо рамочка, оклеенная золотой бумагою и раковинками.

Нас рано уложили спать, раньше обычного. Нам велено не разговаривать в постелях и скорее заснуть. Мы устали за день. Сами спяжутся веки, они тяжелы, налиты усталостью и падают одна на другую. Сон ходит совсем близко. Беспреданно заглядывает он в кровати, а Дрема уж и заглянула и осталась в кроватках. Но есть кое-что и посильнее их, — и вот брат явственно выговаривает из своей кровати:

— А бабушка курит!

Нам обоим — и ему, сказавшему, и мне, слушающему, — страшно этих слов, но он говорит, а я слушаю. Я молчу, но он чувствует в моем молчании самый настоятельный, нетерпеливый вопрос и отвечает:

— Оттого у нее портсигар. Она курит.

Но все это так невозможно, так странно, так ужасно думать и сказать так про бабушку, что я, в слезах, говорю торопливо, давясь словами и слезами:

— Неправда, неправда! Монашки не курят! Портсигар — так. Он — просто. Нельзя... про бабушку... Неправда!

Я всхлипываю, пряча голову под подушки.

Брат молчит. Он долго молчит. И я знаю, что он этим молчаньем не только отказался от своих слов, но ему жалко и меня, и бабушку, и он сам, наверное, заплачет...

Но мы — свое, а Сон и Дрема — свое. Они не мешкают. Дрема совсем подобралась к нам под бочок, и от нее идет такое тепло, что не хочется больше ничего, кроме тепла и покою. А Сон наклонился над нами, и тихо пальцами, — а пальцы у него длинные, мягкие, невидимые, — закрывает нам веки, и дышит на нас, а в его дыхании — покой, нега, темнота.

И мы засыпаем.